ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ЗДРАВСТВУЙ, ЗАВТРА!

Вот и нельзя, а улыбаюсь при чтении Канона утрени четвертка первой седмицы Великого Поста, услышав об апостолах, что они "заря воздержания" (прекрасно!), а там уж они и "лира духодвижимая", и "духа трубы Христовы", и уже видишь, как матушка-поэзия начинает теснить простую мужественную правду апостольского делания.

Ах, литература, литература! Свет и искушение, спасение и смущение. Но там и тогда, в высоком воздухе аскетики и духовного строительства, она уравнивалась Евангелием, долгим трудом молитвы, скудностью быта и тяготами послушаний. А уж сегодня слово окончательно отлетает от плоти жизни и становится "слишком видно". Слово всё необратимее расстаётся с земной, телесной реальностью смысла, с райским садом, где мир был назван впервые, и всё было: земля и небо, дерево и птица, вещь и дело.

Мы сами изгнали себя из рая цельности. Василий Осипович Ключевский намекал, что и Смутное время началось с того, что разошлись понятия государь и государство, свобода и воля, долг и право, что слова стали подменять реальность. И потом эти разрывы и Евангелием было не заживить.

А тут попадется на глаза "Охранная грамота" Пастернака (именно попадется, словно сама прыгает в руки откуда-то, опять подтверждая, что как только о чём-нибудь начинаешь думать всерьёз, книги торопятся разделить с тобой мысль), и я читаю там, что вместо философии перед Первой мировой войной явилась "странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещенства". "История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология вырождалась в ветреную пустяковину брошюрного пошиба".

Эх, думаешь, разве тогда всё обращалось в беллетристику, если работали И. Ильин и Г. Шпет, С. Франк и Н. Бердяев. Это уж от молодой требовательности и нетерпения могло сорваться. Но предчувствие наступления "беллетристики" было верно. Она ещё "кралась", ещё стыдилась себя, тем более время посуровело, и слово стало сильно и опасно, и литература ещё возвращалась в живой крепости и правде у Шолохова, Фадеева, Федина, Эренбурга, в сильной послеоттепельной прозе у Казакова, а там и у мощных "деревенщиков": у Абрамова, Астафьева, Белова, Распутина, – так что мы на время ободрились и поверили, что русское слово вернётся в прежней цельности и спасительной силе. Но только на минуту, потому что при высоте и евангельском духе уже предчувствовалась нота прощания: "Последний поклон", "Последний срок", "Прощание с Матерой".

И сегодня мир в лучших сочинениях ещё договаривает старые правды, досматривает прежние сны, разве что уже с иным чуть *остраненным* вглядыванием, как выздоравливающий после болезни дивится вчера такому обычному, а сегодня словно омытому дню, торопя окончательное заживление реальности.

В горьких, порою страшных книгах (увидишь их в детской номинации и смутишься) Ольги Громовой "Сахарное дитя" и Нины Тетерской "В плену у блокадного детства" смущённо и утешно обрадуешься, что и посреди безумия истории растёт живое прощающее человеческое сердце. На немыслимых путях скитаний вполне нынешней старообрядческой семьи в "Повести и житии Данилы Терентьевича Зайцева" XVII век со своею ветхой лестовкой совершенно естественно живёт, житийствует посреди XX-го и XXI-го веков, не теряя и не роняя себя, опять доказывая, что в духовно правильном мире времени нет.

Договаривается эта правда и в старинно обстоятельных книгах, среди которых, наверное, всех её читателей задела, почти смутила своей живой старомодностью (опять времени нет) книга Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", начиная с простосердечного названия (почти как некогда всеобщеизвестной, а нынче позабытой книги Тихона Сёмушкина "Алитет уходит в горы") до предельно открытого доверчивого рассказа о судьбе молодой татарской женщины перед революцией и в пору самых тяжёлых пореволюционных лет. Книжка отсылает нас к высокой советской классике, как будто навсегда утраченной, ан вот – счастливо возвращённой, словно книга была до времени потеряна, забыта на чердаке, а вот теперь нечаянно счастливо возвращена, не повредив во времени ни страницы.

Кажется, и сама матушка-история ищет возвращения, но уже не узнаёт себя, потому что *не возвращается*, а *воскрешается*, как "четверодневный Лазарь": "Лазаре, гряди вон!" Да только разве Лазарь встал тот же, что "ушёл", оплаканный Марфой и Марией четыре дня назад? Он узнал что-то последнее в своей важности и вышел в новую дорогу. Так и мы после прочтения этих оглядчивых книг воскрешали небывшее, словно видели историю, преображённую, очищенную смертью для более разумной жизни, и, боюсь, мы теперь не сможем написать единого учебника истории, потому что она уже побыла художественным текстом, который всегда убедительнее факта.

Живут ещё, конечно, как во всякое время, и книги "как ни в чём не бывало", словно история писана не про них. Их все побранивают, зовут "второстепенными", как некогда Слепцова, Эртеля, Терпигорева-Атаву, Златовратского, а они между тем, просто *почв*а, без которой гениям неоткуда было бы взяться.

Так Евгений Максимов пишет "Приключения Славки Щукина", словно носовский "Витя Малеев" вышел вчера и ему надо бы подыскать товарища по школе и на улице, чтобы не скучал. Так писаны "Старый рояль" Александры Житинской, "Мужской день" Бориса Минаева, "Предчувствие любви" Ирины Дружаевой. Выгорят на летнем дачном солнце, пока читаешь, обложки и не отличишь от прозы 60-х– 70-х годов. И это не укор, а только радость, что мир не везде торопится переодеться в броское платье непременной новизны, понимая, что на старых путях таятся живые чудеса.

Но уже не спрячешься от жестокой опустошённости времени. И вот в детской же номинации явятся "Рассказы бывшего детдомовца" Леонида Фролова, писанные не в дали "злой советской истории", а прямо сегодня. Но их уже читателям толстовского "Детства" не покажешь, потому что там будут "мокрощёлки", "грёбаный бизнес", вокзальные проститутки и много страшного "опыта века сего", так что сердце сожмётся, и поймаешь себя на мысли, что, может, наша детская-то номинация не для детей и создана, а чтобы батюшка-государство и матушка-политика отшатнулись, поняли, что они наделали со своими детьми, и начали что-то поправлять.

А что эти больные книги о нынешнем детстве не случайность, не "ошибка" отборочной комиссии, скажет роман Анастасии Ермаковой "Пластилин", где опять детский дом и невыносимая, добрая, злая, печальная любящая жизнь в срывах, пьянстве, проституции, во всей своей агрессивной низости, не перекрываемой высотой нашего самообмана, которой бы хотелось не знать, но которая от твоих закрытых глаз не перестанет существовать.

Разный выходит портрет времени. И, увы, чаще неприятный, но уж каковы есть, таков и портрет: поотражаемся...

"Когда на человечество наступил двадцать первый век, на земле начало твориться что-то жуткое. Слушать новости стало страшно; все потихоньку привыкли к сводкам катастроф, спискам жертв, сметам на возрождение невозвратного. Где не сгорело, там утонуло, кто не разбился, того задавило. Количество глянцевых эротических журналов превысило предельно допустимую

концентрацию... Люди переоделись, но забыли сменить выражение лица, и оно осталось, так сказать, невежливым ...” (Е. Черникова, “Зачем?”).

“Появились наркоманы, колбаса, книги, лифчики, заказные убийства, доллары, страх, решётки на окнах и парадные на ключах, СПИД и компьютеры. Исчезли зарплата, пафос, чистота, бескорыстие, скромность и волосы на женских ногах” (А. Матвеева “Подожди, я умру и приду”).

“С детства мы учились на отвратных примерах, на террористических романах или выискивали негативное в нормальных произведениях. Мы учились без Бога, и нам было хорошо. И в душе у нас всегда жило сомнение, что люди могут быть добрыми, бескорыстными, смелыми и преданными... Мы не можем нормально жить, мы привыкли разрушать. А земное – жена, дети и добрые дела – нас почему-то не греет и кажется бессмысленным” (Ф. Нагил “Земные одежды”).

И уж как совершенная формула поколения: “Мир стал невинен. Мир стал юн. Всё пофиг. Перезагрузка с потерей всех сохраненных данных” (М. Кучерская, “Тётя Мотя”). “Перезагрузка” для возможности с “обаятельным цинизмом” ни за что не отвечать.

Таковы эти “жанровые картинки” времени, нынешнее “передвижничество”. А можно поглядеть в литературе и портреты поколения. Там в детских домах готовят мальчиков для “голубых” олигархов. Там сорокалетние “пропащие люди”, секс без разбора, пьянство и безысходность. Там “чморят лохов” и делят госбюджет, как “общак” (не стану обозначать кавычек – язык стал обыденным), там рядовые граждане – “сявки позорные”, там жизнь “по понятиям”, там можно прочитать, как у М. Кантора в его “Красном свете” о Солженицыне: “Не выгорело у фраера. Послали топтать зону. А фраер откинулся, огрёб бабла и схарчил советскую идеологию” (компьютер исподчеркивался, не находя в своей памяти этих слов. Привыкай, тебе всё чаще придётся сталкиваться с этим).

И вот тут уже не про “наступление беллетристики” приходит пора говорить, а про её всемирный потоп, поскольку “наступает не календарный, настоящий XXI-й век”.

Культура вступает с цивилизацией в лесбийские отношения: обе стали гламурны, развратны, громки, стали жить “на показ” и демонстрировать “стильность”. И тонкость. Там, в этом зеркале, чиновники безнаказанно наглы, журналы продажны. Там принципиального человека съедят и не подавятся, если он не примет блатных правил игры, и заставят уйти в бомжи, спиться. Бедные писатели – медиумы безвременья.

Можно было бы закричать от гнева, уйти в партизаны, обрадоваться, что такой мощный отряд литераторов видит мир насквозь, не даёт ему вывернуться и провести нас, менее зорких. А только однажды вдруг с подозрением обнаруживаешь, что мерзость-то мира для прозаиков уже “товар”, что осветись мир и спасись человек, так они, пожалуй, и озлятся. Они “подсели” на зло, как наркоманы на иглу.

Я дочитываю книжку Анны Никольской “Валя off line” и вдруг понимаю, что не хочу жить, потому что это уже какая-то другая параллельная, необратимо другая жизнь, где всё моё прошлое – **наше** прошлое! – все эти революции, войны, целина, космос, Куба, победы и страдания не нужны, а нужны деньги, “Мерседесы”, успех – “ты этого достойна”! А повесть-то о том, как 13-летняя девочка мечтает о ресницах, макияже, Америке и стыдится матери, её бедного мира и надеется как-то согласить в душе и мать, и Англию, и желанную домработницу, и Кембридж, то есть немножко предать и вчера, и сегодня. Одна ли такая Валя? Реальнее ли и прочнее ли мир героев Марии Ряховской “Записки одной курёхи” с её фанатами и фанатками Цоя, БГ, Башлачёва, Кинчева? Тоже ведь целое поколение, которое Л. Аннинский зовёт в предисловии “освободившимся от Советов” и славит простор, в который они вышли. Да только не пустыня ли этот простор, где и деревня, куда их сплавляют на лето, поворачивается к ним не живой болью и светом, а распадом, пьянством, воровством, на фоне которого, конечно, затоскуешь по Цою, изнеженной эстетике БГ или декоративному сопротивлению Кинчева.

Дочитываю Веру Нарбикову, заглядываю по дороге в Александра Геласимова, вспоминаю чтение прошлых лет и останавливаюсь перед другой особенностью молодой литературы: она предпочитает раздеваться до пояса снизу.

Явилась всеобщая подворотня, не просто требующая себе места, а корящая прошлую литературу за "фарисейское целомудрие": чего же вы нам главного-то не говорили? И вот образчик "романтического" чувства: "Рада! Моя Рада! Мог ли я допустить, когда ты танцевала со мной под "Spice girls" в "Старом замке", а я, оцепенев, пялился на тебя, что когда-нибудь буду делать с тобой такое? Сильнее возбуждения благодарность тебе. И твоей руке на моей ширинке. Расстегивает пуговицу, тянет молнию вниз. Ей бы меня этому научить. Ведь, Аристотель, сука, такого не напишет. И Платон, мудак, будет тереть о другом. А главное, вот оно: как, ловко спустив штаны, заполучить пульт управления". (Бедные Платон и Аристотель не знали, что "главное-то вот оно" – "рука на ширинке", а знали бы, глядишь, и не приговаривались к изгнанию, как Аристотель, или к смерти, как Платон.)

Наверно, да даже и действительно, эти нынешние "открытия" и тонкости чувствований – правда, но отчего же душа, защищаясь, шепчет: "Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены?". И уже не жалко новых потерянных или только теряющихся себя молодых героев, и не радостно за зорких авторов, умеющих написать эту тоскующую бедность с ловкостью и мастерством, потому что они расхищают твою жизнь, и ты выходишь из книги беднее, чем вошёл в неё, и порой торопишься мстительно закрыть, не дочитав, чтобы уберечь остатки души и веры в человека.

Художники стали ироничны и злы, словно каждый маркиз де Кюстин и проездом в России. Любить человека стало "не модно", да и жизнь тоже. За что её любить – такую ущербную, мелкую, потребительски-жалкую? И нет-нет начинает мерещиться, что вся проза пишется, как фотография "в цифре" – ярко и сиюминутно, не веря в существование завтрашнего дня. Да ещё и обрабатывается в "фотошопе" – контраст, яркость, обрезка сюжетов. Герои умны, всезнающи, игривы по отношению к жизни. Но всё время чувствуешь, что они этим умом и блеском норовят закрыть от себя какую-то отчетливую пустоту и живут всё время чуть наружу с тайной уверенностью, что всех их "кинут", и потому все мотивации – "лишь фантики, обёртки от дешёвых ирисок", как пишет Андрей Геласимов, уверенный, что "все мы – части какого-то текста", а не земной твёрдой жизни. И таковы все мы, дети законов, "писанных на коленке" (Олег Рябов), отравленные воздухом постоянного преступления и сомнения, "твоя ли это страна", съеденные демоном пустоты.

Вот-вот станет общим местом разговор о "перепроизводстве литературы". Это как-то соглашается в нашем сознании – читают всё меньше, а книг всё больше. И слово становится предметом насилия, за него некому заступиться (хоть создавай Комитет по защите прав слова!). Его используют как дешевую рабочую силу, и оно теряет достоинство. И герой Павла Крусанова из романа "Американская дырка" может спокойно сказать, что "культура, традиция, долг – это всё попсня", потому что время зовёт за "жирной новизной". В том числе и за жирной интеллектуальной новизной. Евгений Попов покажет свой первый интернет-роман, провоцируя "посетителя" (не читателя же) в своем блоге нарочито раздражающим текстом, а потом выставляя этого посетителя дураком.

А Дмитрий Бавильский отыщет в "Живом журнале" "заговор против власти" и попытается проникнуть в "логово" сетевого переворота ("Ангелы на первом месте"), и тут герой Крусанова, уставший от "попсни традиции", спросит нас напрямую, когда же мы, в конце концов, перестанем путаться под ногами вместе с раздражающей кутерьмой наших мелких смешных проблем, чтобы, наконец, стремительно расширяющийся виртуал полностью слился с реальностью, так чтобы уже невозможно было отличить одно от другого. Следствием явятся роман-фьюжн ("Москва-ква-ква" В. Аксёнова), роман-квест ("Квартал" Д. Быкова), арт-роман (М. Палей "Клеменс"), роман-центон ("Воскресенье в третьем Риме" В. Микушевича), где мир есть только повод к тексту (прав Геласимов: мы давно только часть текста, поспешного слова, которое используется до того, как вспомнит своё Господне значение), а жизнь уже не жизнь, а "омонимы, кальки, анаграммы и иной лингвистический реквизит".

Не мудрено, что в этом подменном полувирутальном пространстве, как пишет товарищ Крусанова по питерской прозе Андрей Столяров, "люди давно махнули на всё рукой. Им теперь всё до лампочки: кто, что, зачем, почему? Мы превращаемся в рыхлую неопределённую массу. Мы объелись политикой, обещаниями, проектами, проповедями. Мы хотим одного: чтобы все

они куда-нибудь провалились". Так бы и продолжил А. И. Герценом, свидетельствовавшим в похожий час истории: "постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустоту интересов, отсутствие энергии... всё ясно мельчает, делается дюжиннее, пошлее. Посмотрите – душа убывает..."

Нет, хватит. Иначе не остановишься и только умножишь перепроизводство слов. Уже и по приведённым примерам равно строгого и игрового свойства видно, как в сущности полегчала жизнь, и всё отчетливее сознаётся, что отсутствие большого дела автоматически приводит к отсутствию большого стиля, заставляя художников прятаться в садах слова. Да ведь только за один язык, даже и такой богатый, как русский, без родного неба не удержишься, он начнёт выстывать до театра, где всё, как в жизни, но никак не забудешь рампы и искусственного освещения.

"Мысленный волк" межвременья расставляет сети игры, обманчивой свободы и эстетических забав, чью опасность так знали юноши прошлого, "пытающиеся вопрос разрешить", которые бежали внешней красоты, предпочитая ангела этики дьяволу эстетики.

Одессит Борис Херсонский, наглядевшись, как "очередную эпоху сметают дворники с мостовых, опять листовки расклеены поверх театральных афиш", посмеивается: "Русская проза – это собрание карикатур на фоне прекрасных пейзажей". Карикатур – да, но где он нашёл прекрасные пейзажи? Мы все давно дети города и слова, а не неба и смысла. Обстоятельный пейзаж ушёл с "обстоятельной" жизнью. А уж чтобы дождаться прямого открытого признания в любви к Родине ("О, Русь моя! Жена моя!") – так и представить себе нельзя.

Я нарочно (не от слепоты) не говорю о редких книгах "коротких списков", хотя даже и нашей "Ясной Поляны" возьми лауреатов и потом посмей продолжать о слепоте – что же ты, брат? Как же ты сам-то голосуешь при утверждении "короткого списка"?

А только человек-то живёт в "длинном списке" и может в жизни не дочитаться до "короткого".

Да и свою-то досаду как преодолеть, свой-то "длинный список" не выговорить и хоть тем утолить раздражение и усталость?

А между тем уходит, расточается неодушевлённым словом твоя единственная жизнь.

И как вглядишься в своё стареющее сердце, там всё та же вековечная тревога: *Русь, куда ты несёшься*?

И у кого спросить об этом, как не у русской литературы?